

# Михаил Булгаков

## Великий канцлер

### Роман

## Никогда не разговаривайте с неизвестными<sup>1</sup>

В час заката на Патриарших Прудах появились двое мужчин. Один из них лет тридцати пяти, одет в дешевенький заграничный костюм. Лицо имел гладко выбритое, а голову со значительной плешью. Другой был лет на десять моложе первого. Этот был в блузе, носящей

---

<sup>1</sup> *Никогда не разговаривайте с неизвестными.* — Это более позднее название главы, сначала она имела другое название — «Первые жертвы». Перемена в названии, видимо, связана с нежеланием автора «с порога» раскрывать основную идею романа.

Интересные сведения о выборе *Патриарших Прудов* как начального места действия в романе находим в воспоминаниях Е. С. Булгаковой. В феврале 1961 г. она писала своему брату: «На днях будет еще один 32-летний юбилей — день моего знакомства с Мишей. Это было на масляной, у одних общих знакомых... Словом, мы встречались каждый день, и, наконец, я взмолилась и сказала, что никуда не пойду, хочу выспаться, и чтобы Миша не звонил мне сегодня. И легла рано, чуть ли не в девять часов.

нелепое название «толстовка», и в тапочках на ногах. На голове у него была кепка.

Оба изнывали от жары. У второго, не догадавшегося снять кепку, пот буквально струями тек по грязным щекам, оставляя светлые полосы на коричневой коже...

Первый был не кто иной, как товарищ Михаил Александрович Берлиоз<sup>2</sup>, секретарь Всемирного

---

Ночью (было около трех, как оказалось потом) Оленька, которая всего этого не одобряла, конечно, разбудила меня: иди, тебя твой Булгаков зовет к телефону... Я подошла. „Оденьтесь и выйдите на крыльцо“, — загадочно сказал Миша и, не объясняя ничего, только повторял эти слова... Под Оленькино ворчанье я оделась... и вышла на крылечко, луна светит страшно ярко, Миша белый в ее свете стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех — прикладывает палец ко рту и молчит как пень. Ведет через улицу, приводит на Патриаршие Пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку: здесь они увидели его в первый раз. — И опять — палец у рта, опять молчание...»

<sup>2</sup> ...*Михаил Александрович Берлиоз*... — В настоящей и в других редакциях этот герой романа именуется также Мирцевым, Крицким, Цыганским... Михаилом Яковлевичем, Антоном Антоновичем, Антоном Мироновичем, Владимиром Антоновичем, Владимиром Мироновичем, Марком Антоновичем, Борисом Петровичем, Григорием Александровичем... При доработке последней редакции Булгаков даже пытался именовать этого героя...

объединения писателей (Всемиописа<sup>3</sup>) и редактор всех московских толстых художественных журналов, а спутник его — Иван Николаевич Попов, известный поэт, пишущий под псевдонимом Бездомный<sup>4</sup>.

---

Чайковским... Но все-таки самое первое наименование героя — Берлиоз — оказалось и самым прочным: в последние месяцы жизни писатель вернулся вновь к нему. Безусловно, не случайно совпадение фамилии героя романа с фамилией композитора Гектора Берлиоза. Последний прославился своей «Фантастической симфонией», в которой тема адского шабаша раскрыта с исключительной выразительностью.

Высказывается множество предположений относительно прототипа этого героя. Следует заметить, что таковых слишком много, ибо в те времена «богоборцы» в сфере культуры доминировали. Можно лишь назвать наиболее «выдающихся» представителей из этой когорты, которые были помечены Булгаковым в его «списке врагов». Это Л. Л. Авербах и М. Е. Кольцов.

Зловещий образ Берлиоза незначительно изменялся в процессе работы над романом.

<sup>3</sup> *...Всемиописа...* — Писательское объединение именуется в романе и всемирным, и всесоюзным, и московским... Сокращения его также разнообразны: Всемиопис, Вседрупис, Миолит, Массолит...

<sup>4</sup> *...Иван Николаевич Попов... под псевдонимом Бездомный.* — Он же — Безродный, Беспризорный, Покинутый, Понырев, Тешкин... СобираТЕЛЬный образ, хотя в первых редакциях

Оба, как только прошли решетку Прудов, первым делом бросились к будочке, на которой была надпись: «Всевозможные прохладительные напитки». Руки у них запрыгали, глаза стали молящими. У будочки не было ни одного человека.

Да, следует отметить первую странность этого вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее не было никого. В тот час, когда солнце в пыли, в дыму и грохоте садится в Цыганские Грузины<sup>5</sup>, когда все живущее жадно ищет воды, клочка зелени, кустика травинки, когда раскаленные плиты города отдают жар, когда у собак языки висят до земли, в аллее не было ни одного человека. Как будто нарочно все было сделано, чтобы не оказалось свидетелей.

— Нарзану, — сказал товарищ Берлиоз, обращаясь к женским босым ногам, стоящим на прилавке.

Ноги спрыгнули тяжело на ящик, а оттуда на

---

романа явно просматриваются черты Демьяна Бедного (*Кузякина Н. Б.* Михаил Булгаков и Демьян Бедный // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 392–410). В архиве писателя сохранилась папка с «сочинениями» Д. Бедного (вырезки из газет с пасквилями поэта).

<sup>5</sup> *Цыганские Грузины* — район Большой и Малой Грузинских улиц.

пол.

— Нарзану нет, — сказала женщина в будке.

— Ну, боржому, — нетерпеливо попросил Берлиоз.

— Нет боржому, — ответила женщина.

— Так что же у вас есть? — раздраженно спросил Бездомный и тут же испугался — а ну как женщина ответит, что ничего нет.

Но женщина ответила:

— Фруктовая есть.

— Давай, давай, давай, — сказал Бездомный.

Откупорили фруктовую — и секретарь, и поэт припали к стаканам. Фруктовая пахла одеколоном и конфетами. Друзей прошиб пот. Их затрясло. Они оглянулись и тут же поняли, насколько истомились, пока дошли с площади Революции до Патриарших. Затем они стали икать. Икая, Бездомный справился о папиросах, получил ответ, что их нет и что спичек тоже нет.

Икая, Бездомный пробурчал что-то вроде — «сволочь эта фруктовая», — и путники вышли в аллею. Фруктовая ли помогла или зелень старых лип, но только им стало легче. И оба они поместились на скамье лицом к застывшему зеленому пруду. Кепку и тут Бездомный снять не догадался, и пот в тени стал высыхать на нем.

И тут произошло второе странное обстоятельство, касающееся одного Михаила

Александровича. Во-первых, внезапно его охватила тоска. Ни с того ни с сего. Как бы черная рука протянулась и сжала его сердце. Он оглянулся, побледнел, не понимая, в чем дело. Он вытер пот платком, подумал: «Что же это меня тревожит? Я переутомился. Пора бы мне, в сущности говоря, в Кисловодск...»

Не успел он это подумать, как воздух перед ним сгустился совершенно явственно и из воздуха соткался застойный и прозрачный тип вида довольно странного. На маленькой головке жокейская кепка, клетчатый воздушный пиджачок, и росту он в полторы сажени и худой, как селедка, морда глумливая.

Какие бы то ни было редкие явления Михал Александровичу попадались редко. Поэтому прежде всего он решил, что этого не может быть, и вытаращил глаза. Но это могло быть, потому что длинный жокей качался перед ним и влево и вправо. «Кисловодск... жара... удар?!» — подумал товарищ Берлиоз и уже в ужасе прикрыл глаза. Лишь только он их вновь открыл, с облегчением убедился в том, что быть действительно не может: сделанный из воздуха клетчатый растворился. И черная рука тут же отпустила сердце.

— Фу, черт, — сказал Берлиоз, — ты знаешь, Бездомный, у меня сейчас от жары едва удар не сделался. Даже что-то вроде галлюцинаций было...

Ну-с, итак.

И тут, еще раз обмахнувшись платком, Берлиоз повел речь, по-видимому, прерванную питьем фруктовой и иканием.

Речь эта шла об Иисусе Христе. Дело в том, что Михаил Александрович заказывал Ивану Николаевичу большую антирелигиозную поэму<sup>6</sup> для очередной книжки журнала. Во время путешествия с площади Революции на Патриаршие

---

<sup>6</sup> ...большую антирелигиозную поэму... — Антирелигиозная пропаганда, которая велась средствами массовой информации в 20-е гг., вызывала у Булгакова чувство негодования и брезгливости к ее инициаторам и исполнителям. Можно себе представить, какое чувство вызвало у Булгакова появление в печати весной 1925 г. («Правда», апрель-май) «Нового завета без изъяна евангелиста Демьяна». Иисус Христос в этом опусе Бедного предстал человеком от рождения неполноценным, наделенным многими пороками. А заканчивался он так:

Точное суждение о Новом завете:

Иисуса Христа никогда не было на свете.

Так что некому было умирать и воскресать,

Не о ком было Евангелия писать.

Несомненно, «Евангелие от Демьяна» послужило, в ряду прочих причин, толчком к написанию романа о дьяволе. И видимо, не без удовольствия Булгаков записал в своем дневнике «информацию» о придворном поэте: «...Демьян Бедный, выступая перед собранием красноармейцев, сказал: „Моя мать была блядь...“»

Пруды редактор и рассказывал поэту о тех положениях, которые должны были лечь в основу поэмы.

Следует признать, что редактор был образован. В речи его, как пузыри на воде, вскакивали имена не только Штрауса и Ренана, но и историков Филона, Иосифа Флавия и Тацита.

Поэт слушал редактора со вниманием и лишь изредка икал внезапно, причем каждый раз тихонько ругал фруктовую непечатными словами.

Где-то за спиной друзей грохотала и выла Садовая, по Бронной мимо Патриарших проходили трамваи и пролетали грузовики, подымая тучи белой пыли, а в аллее опять не было никого.

Дело между тем выходило дрянь: кого из историков ни возьми, ясно становилось каждому грамотному человеку, что Иисуса Христа никакого на свете не было. Таким образом, человечество в течение огромного количества лет пребывало в заблуждении, и частично будущая поэма Бездомного должна была послужить великому делу освобождения от заблуждения. Меж тем товарищ Берлиоз погрузился в такие дебри, в которые может отправиться, не рискуя в них застрять, только очень начитанный человек. Соткался в воздухе, который стал, по счастью, немного свежеть, над Прудом египетский бог Озирис, и вавилонский Таммуз, появился пророк Иезекииль, а за Таммузом —



Мардук, а уж за этим совсем странный и сделанный к тому же из теста божок Вицлипуцли.

И тут-то в аллею и вышел человек. Нужно сказать, что три учреждения впоследствии, когда уже, в сущности, было поздно, представили свои сводки с описанием этого человека. Сводки эти не могут не вызвать изумления. Так, в одной из них сказано, что человек этот был маленького росту, имел зубы золотые и хромал на правую ногу. В другой сказано, что человек этот был росту громадного, коронки имел платиновые и хромал на левую ногу. А в третьей, что особых примет у человека не было. Поэтому приходится признать, что ни одна из этих сводок не годится.

Во-первых, он ни на одну ногу не хромал. Росту был высокого, а коронки с правой стороны у него были платиновые, а с левой — золотые. Одет он был так: серый дорогой костюм, серые туфли заграничные, на голове берет, заломленный на правое ухо, на руках серые перчатки. В руках нес трость с золотым набалдашником. Гладко выбрит. Рот кривой. Лицо загоревшее. Один глаз черный, другой зеленый. Один глаз выше другого. Брови черные. Словом — иностранец.

Иностранец прошел мимо скамейки, на которой сидели поэт и редактор, причем бросил на них косой беглый взгляд.

«Немец», — подумал Берлиоз.

«Англичанин, — подумал Бездомный. — Ишь, сволочь, и не жарко ему в перчатках».

Иностранец, которому точно не было жарко, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке. Тут он окинул взглядом дома, окаймляющие Пруды, и видно стало, что, во-первых, он видит это место впервые, а во-вторых, что оно его заинтересовало.

Часть окон в верхних этажах пылала ослепительным пожаром, а в нижних тем временем окна погружались в тихую предвечернюю темноту.

Меж тем с соседней скамейки потоком лилась речь Берлиоза.

— Нет ни одной восточной религии, в которой бог не родился бы от непорочной девы. Разве в Египте Изида не родила Горуца? А Будда в Индии? Да, наконец, в Греции Афина-Паллада — Аполлона? И я тебе советую...

Но тут Михаил Александрович прервал речь.

Иностранец вдруг поднялся со своей скамейки и направился к собеседникам. Те поглядели на него изумленно.

— Извините меня, пожалуйста, что, не будучи представлен вам, позволил себе подойти к вам, — заговорил иностранец с легким акцентом, — но предмет вашей беседы ученой столь интересен...

Тут иностранец вежливо снял берет и друзьям ничего не оставалось, как пожать иностранцу руку,

с которой он очень умело сдернул перчатку.

«Скорее швед», — подумал Берлиоз.

«Поляк», — подумал Бездомный. Нужно добавить, что на Бездомного иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу, наоборот, очень понравился.

— С великим интересом я услышал, что вы отрицаете существование Бога? — сказал иностранец, усевшись рядом с Берлиозом. — Неужели вы атеисты?

— Да, мы атеисты, — ответил товарищ Берлиоз.

— Ах, ах, ах! — воскликнул неизвестный иностранец и так впился в атеистов глазами, что тем даже стало неловко.

— Впрочем, в нашей стране это не удивительно, — вежливо объяснил Берлиоз, — большинство нашего населения сознательно и давно уже перестало верить сказкам о Боге. — Улыбнувшись, он прибавил: — Мы не встречаем надобности в этой гипотезе.

— Это изумительно интересно! — воскликнул иностранец, — изумительно.

«Он и не швед», — подумал Берлиоз.

«Где это он так насобачился говорить по-русски?» — подумал Бездомный и нахмурился. Икать он перестал, но ему захотелось курить.

— Но позвольте вас спросить, как же быть с

доказательствами бытия, доказательствами, коих существует ровно пять? — осведомился иностранец крайне тревожно.

— Увы, — ответил товарищ Берлиоз, — ни одно из этих доказательств ничего не стоит. Их давно сдали в архив. В области разума никаких доказательств бытия Божия нету и быть не может.

— Bravo! — вскричал иностранец, — bravo. Вы полностью повторили мысль старикашки Иммануила по этому поводу. Начисто он разрушил все пять доказательств, но потом, черт его возьми, словно курам на смех, вылепил собственного изобретения доказательство!

— Доказательство Канта, — сказал, тонко улыбаясь, образованный Берлиоз, — также не убедительно, и не зря Шиллер сказал, что Кантово доказательство пригодно для рабов, — и подумал: «Но кто же он такой все-таки?»

— Взять бы этого Канта да в Соловки! — неожиданно бухнул Иван.

— Иван! — удивленно шепнул Берлиоз.

Но предложение посадить в Соловки Канта не только не поразило иностранца, но, наоборот, привело в восторг.

— Именно! Именно! — заговорил он восторженно, — ему там самое место. Говорил я ему: ты чепуху придумал, Иммануил.

Товарищ Берлиоз вытаращил глаза на

иностранца.

— Но, — продолжал неизвестный, — посадить его, к сожалению, невозможно по двум причинам: во-первых, он иностранный подданный, а во-вторых, умер.

— Жаль! — отозвался Иван, чувствуя, что он почему-то ненавидит иностранца все сильнее и сильнее.

— И мне жаль, — подтвердил неизвестный и продолжал: — Но вот что меня мучительно беспокоит: ежели Бога нету, то, спрашивается, кто же управляет жизнью на земле?

— Человек, — ответил Берлиоз.

— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — но как же, позвольте спросить, может управлять жизнью на земле человек, если он не может составить никакого плана, не говорю уже о таком сроке, как хотя бы сто лет, но даже на срок значительно более короткий. И в самом деле, вы вообразите, — только начнете управлять, распоряжаться, кхе... кхе... комбинировать и вдруг, вообразите, у вас саркома. — Тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме доставила ему наслаждение. — Саркома... — повторил он, щурясь, — звучное слово, и вот-с, вы уже ничем не распоряжаетесь, вам не до комбинаций, и через некоторое время тот, кто недавно еще отдавал распоряжения по телефону,

покрикивал на подчиненных, почтительно разговаривал с высшими и собирался в Кисловодск, лежит, скрестив руки на груди, в ящике, неутешная вдова стоит в изголовье, мысленно высчитывая, дадут ли ей персональную пенсию, а оркестр в дверях фальшиво играет марш Шопена.

И тут незнакомец тихонько и тонко рассмеялся.

Товарищ Берлиоз внимательно слушал неприятный рассказ про саркому, но не она занимала его.

«Он не иностранец! Не иностранец! — кричало у него в голове. — Он престранный тип. Но кто же он такой?»

— Вы хотите курить? — любезно осведомился неизвестный у Ивана, который время от времени машинально похлопывал себя по карманам.

Иван хотел злобно ответить «Нет», но соблазн был слишком велик, и он промычал:

— Гм...

— Какие предпочитаете?

— А у вас какие есть? — хмуро спросил Иван.

— Какие предпочитаете?

— «Нашу марку», — злобно ответил Иван, уверенный, что «Нашей марки» нету у антипатичного иностранца.

Но «Марка» именно и нашлась. Но нашлась

она в таком виде, что оба приятеля выпучили глаза. Иностранец вытащил из кармана пиджака колоссальных размеров золотой портсигар, на коем была составлена из крупных алмазов буква «W». В этом портсигаре изыскалось несколько штук крупных, ароматных, золотым табаком набитых папирос «Наша марка».

«Он — иностранец!» — уже смятенно подумал Берлиоз.

Ошеломленный Иван взял папиросу, в руках у иностранца щелкнула зажигалка, и синий дымок взвился под липой. Запахло приятно.

Закурил и иностранец, а некурящий Берлиоз отказался.

«Я ему сейчас возражу так, — подумал Берлиоз, — человек смертен, но на сегодняшний день...»

— Да, человек смертен, — провозгласил неизвестный, выпустив дым, — но даже сегодняшний вечер вам неизвестен. Даже приблизительно вы не знаете, что вы будете делать через час. Согласитесь сами, разве мыслимо чем-нибудь управлять при таком условии?

— Виноват, — отозвался Берлиоз, не сводя глаз с собеседника, — это уже преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее, конечно. Само собой разумеется, что если мне на голову свалится кирпич...

— Кирпич ни с того ни с сего, — ответил неизвестный, — никому на голову никогда не свалится. В частности же, уверяю вас, что вам совершенно он не угрожает. Так позвольте спросить, что вы будете делать сегодня вечером?

— Сегодня вечером, — ответил Берлиоз, — в одиннадцать часов во Всемиописе будет заседание, на котором я буду председательствовать.

— Нет. Этого быть никак не может, — твердо заявил иностранец.

Берлиоз приоткрыл рот.

— Почему? — спросил Иван злобно.

— Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в тускневшее небо, в котором чертили бесшумно птицы, — что Аннушка уже купила постное масло, и не только купила его, но даже и разлила. Заседание не состоится.

Произошла пауза, понятное дело.

— Простите, — моргая глазами, сказал Берлиоз, — я не понимаю... при чем здесь постное масло?..

Но иностранец не ответил.

— Скажите, пожалуйста, гражданин, — вдруг заговорил Иван, — вам не приходилось бывать когда-нибудь в сумасшедшем доме?

— Иван! — воскликнул Берлиоз.

Но иностранец не обиделся, а развеселился.



— Бывал, бывал не раз! — вскричал он, — где я только не бывал! Досадно одно, что я так и не удосужился спросить у профессора толком, что такое мания фурибунда<sup>7</sup>. Так что это вы уже сами спросите, Иван Николаевич.

«Что так-кое?!» — крикнуло в голове у Берлиоза при словах «Иван Николаевич».

Иван поднялся.

Он был немного бледен.

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Помилуйте, товарищ Бездомный, кто же вас не знает, — улыбнувшись, ответил иностранец.

— Я извиняюсь... — начал было Бездомный, но подумал, еще более изменился в лице и кончил так: — Вы не можете одну минуту подождать... Я пару слов хочу товарищу сказать.

— О, с удовольствием! Охотно, — воскликнул иностранец, — здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу, — и он сделал ручкой.

— Миша... вот что, — сказал поэт, отводя в сторону Берлиоза, — я знаю, кто это. Это, — раздельным веским шепотом заговорил поэт, — никакой не иностранец, а это белогвардейский шпион, — засипел он прямо в лицо Берлиозу, — пробравшийся в Москву. Это — эмигрант. Миша, спрашивай у него сейчас же документы. А то

---

<sup>7</sup> Мания фурибунда — неистовая, яростная мания (лат.).

уйдет...

— Почему эми... — шепнул пораженный Берлиоз.

— Я тебе говорю! Какой черт иностранец так по-русски станет говорить!..

— Вот ерунда... — неприятно морщась, начал было Берлиоз.

— Идем, идем!..

И приятели вернулись к скамейке. Тут их ждал сюрприз. Незнакомец не сидел, а стоял у скамейки, держа в руках визитную карточку.

— Извините меня, высокоуважаемый Михаил Александрович, что я в пылу интереснейшей беседы забыл назвать себя. Вот моя карточка, а вот в кармане и паспорт, — подчеркнуто сказал иностранец.

Берлиоз стал густо-красен.

«Или слышал, или уж очень догадлив, черт...»

Иван заглянул в карточку, но разглядел только верхнее слово «professor...» и первую букву фамилии «W».

— Очень приятно, — выдавил из себя Берлиоз, глядя, как профессор прячет карточку в карман. — Вы в качестве консультанта вызваны к нам?

— Да, консультанта, как же, — подтвердил профессор.

— Вы — немец?

— Я-то? — переспросил профессор и задумался. — Да, немец, — сказал он.

— Извиняюсь, откуда вы знаете, как нас зовут? — спросил Иван.

Иностраннный консультант улыбнулся, причем выяснилось, что правый глаз у него не улыбается, да и вообще, что этот глаз никакого цвета, и вынул номер еженедельного журнала...

— А! — сразу сказали оба писателя. В журнале были как раз их портреты с полным обозначением имен, отчеств и фамилий.

— Прекрасная погода, — продолжал консультант, усаживаясь. Сели и приятели.

— А у вас какая специальность? — осведомился ласково Берлиоз.

— Я — специалист по черной магии.

— Как?! — воскликнул товарищ Берлиоз.

«На т-тебе!» — подумал Иван.

— Виноват... и вас по этой специальности пригласили к нам?!

— Да, да, пригласили, — и тут приятели услышали, что профессор говорит с редчайшим немецким акцентом, — тут в государственной библиотеке громадный отдел старой книги, магии и демонологии, и меня пригласил как специалист единственный в мире. Они хотят разбират, продават...

— А-а! Вы — историк!

— Я — историк, — охотно подтвердил профессор, — я люблю разные истории. Смешные. И сегодня будет смешная история. Да, кстати, об историях, товарищи, — тут консультант таинственно поманил пальцем обоих приятелей, и те наклонились к нему, — имейте в виду, что Христос существовал, — сказал он шепотом.

— Видите ли, профессор, — смущенно улыбаясь, заговорил Берлиоз, — тут мы, к сожалению, не договоримся...

— Он существовал, — строгим шепотом повторил профессор, изумляя приятелей совершенно, и, в частности, тем, что акцент его опять куда-то пропал.

— Но какое же доказательство?

— Доказательство вот какое, — зашептал профессор, взяв под руки приятелей, — я с Ним лично встречался.

Оба приятеля изменились в лице и переглянулись.

— Где?

— На балконе у Понтия Пилата<sup>8</sup>, — шепнул

---

<sup>8</sup> ...у Понтия Пилата... — Пятый римский прокуратор, управлявший Иудеей с 26 по 36 г. н. э. По Евангелиям и апокрифам, был вынужден против своей воли дать согласие на казнь Иисуса Христа. В коптских и эфиопских святцах 25 июня значится как день св. Понтия Пилата.

профессор и, таинственно подняв палец, просипел:  
— Только т-сс!

«Ой, ой...»

— Вы сколько времени в Москве? — дрогнувшим голосом спросил Берлиоз.

— Я сегодня приехал в Москву, — многозначительно прошептал профессор, и тут только приятели, глянув ему в лицо, увидели, что глаза у него совершенно безумные. То есть, вернее, левый глаз, потому что правый был мертвый, черный.

«Так-с, — подумал Берлиоз, — все ясно. Приехал немец и тотчас спятил. Хорошенькая история!»

Но Берлиоз был решителен и сообразителен. Ловко откинувшись назад, он замигал Ивану, и тот его понял.

— Да, да, да, — заговорил Берлиоз, — возможно, все возможно. А вещи ваши где, профессор, — вкрадчиво осведомился он, — в «Метрополе»? Вы где остановились?

— Я — нигде! — ответил немец, тоскливо и дико блуждая глазами по Патриаршим Прудам. Он вдруг припал к потрясенному Берлиозу.

— А где же вы будете жить? — спросил Берлиоз.

— В вашей квартире, — интимно подмигнув здоровым глазом, шепнул немец.

— Очень при... но...

— А дьявола тоже нет? — плаксиво спросил немец и вцепился теперь в Ивана.

— И дьявола...

— Не противоречь... — шепнул Берлиоз.

— Нету, нету никакого дьявола, — растерявшись, закричал Иван, — вот вцепился! Перестаньте психовать!

Немец расхохотался так, что из липы вылетел воробей и пропал.

— Ну, это уже положительно интересно! — заговорил он, сияя зеленым глазом. — Что же это у вас ничего нету! Христа нету, дьявола нету, папирос нету, Понтия Пилата, таксомотора нету...

— Ничего, ничего, профессор, успокойтесь, все уладится, все будет, — бормотал Берлиоз, усаживая профессора назад на скамейку. — Вы, профессор, посидите с Бездомным, а я только на одну минуту сбегая к телефону, звякну, тут одно безотлагательное дельце, а там мы вас и проводим, и проводим...

План у Берлиоза был такой. Тотчас добраться до первого же телефона и сообщить куда следует, что приехавший из-за границы консультант-историк бродит по Патриаршим Прудам в явно ненормальном состоянии. Так вот, чтобы приняли меры, а то получится дурацкая и неприятная история.

— Дельце? Хорошо. Но только умоляю вас, поверьте мне, что дьявол существует, — пылко просил немец, поглядывая исподлобья на Берлиоза.

— Хорошо, хорошо, хорошо, — фальшиво-ласково бормотал Берлиоз. — Ваня, ты посиди, — и, подмигнув, он устремился к выходу.

И профессор тотчас как будто выздоровел.

— Михаил Яковлевич! — звучно крикнул он вслед.

— А?

— Не дать ли вашему дяде телеграмму?

— Да, да, хорошо... хорошо... — отозвался Берлиоз, но дрогнул и подумал: «Откуда он знает про дядю?»

Впрочем, тут же мысль о дяде и вылетела у него из головы. И Берлиоз похолодел. С ближайшей к выходу скамейки поднялся навстречу редактору тот самый субъект, что недавно совсем соткался из жаркого зноя. Только сейчас он был уже не знойный, а обыкновенный плотский, настолько плотский, что Берлиоз отчетливо разглядел, что у него усишки, как куриные перышки, маленькие, иронические, как будто полупьяные глазки, жокейская шапочка двуцветная, а брючки клетчатые и необыкновенно противно подтянутые.

Товарищ Берлиоз вздрогнул, попятился, утешил себя мыслью, что это совпадение, что то было марево, а это какой-то реальный оболтус.

— Турникет ищите, гражданин? — тенором осведомился оболтус, — а вот, прямо пожалуйста... Кхе... кхе... с вас бы, гражданин, за указание на четь-литрочки поправиться после вчерашнего... бывшему регенту...

Но Берлиоз не слушал, оказавшись уже возле турникета.

Он уж собрался шагнуть, но тут в темнеющем воздухе на него брызнул слабый красный и белый свет. Вспыхнула над самой головой вывеска «Берегись трамвая!». Из-за дома с Садовой на Бронную вылетел трамвай. Огней в нем еще не зажигали, и видно было, что в нем черным-черно от публики. Трамвай, выйдя на прямую, взвыл, качнулся и поддал. Осторожный Берлиоз хоть и стоял безопасно, но, выйдя за вертушку, хотел на полшага еще отступить. Сделал движение... в ту же секунду нелепо взбросил одну ногу вверх, другая поехала по камням и Берлиоз упал на рельсы.

Он лицом к трамваю упал. И увидел, что вагоновожатая молода, в красном платочке, но бела, как смерть, лицом.

Он понял, что это непоправимо, и не спеша повернулся на спину. И страшно удивился тому, что сейчас же все закроется и никаких ворон больше в темнеющем небе не будет. Преждевременная маленькая беленькая звездочка глядела между крещущими воронами.



Эта звездочка заставила его всхлипнуть жалобно, отчаянно.

Затем, после удара трясущейся женской рукой по ручке электрического тормоза, вагон сел носом в землю, в нем рухнули все стекла. Через миг из-под колеса выкатилась окровавленная голова, а затем выбросило кисть руки. Остальное мяло, тискало, пачкало.

Прочее, то есть страшный крик Ивана, видевшего все до последнего пятна на брюках, вой в трамвае, потоки крови, ослепившие вожатую, это Берлиоза не касалось никак.

## Погоня<sup>9</sup>

Отсверлили бешеные милицейские свистки, утихли безумные женские визги, две кареты увезли, тревожно трубя, обезглавленного, в лохмотьях платья, раненную осколками стекла вожатую и пассажиров; собаки зализали кровь, а Иван Николаевич Бездомный как упал на лавку, так и сидел на ней.

Руки у него были искусаны, он кусал их, пока в нескольких шагах от него катило тело человека, сгибая его в клубок.

---

<sup>9</sup> *Погоня*. — В первой разметке глав иное название: «Иванушка гонится за Воландом».

Ваня в первый раз в жизни видел, как убивает человека, и испытал приступ тошноты.

Потом он пытался кинуться туда, где лежало тело, но с ним случилось что-то вроде паралича, и в этом параличе он и застыл на лавке. Ваня забыл начисто сумасшедшего немца-профессора и старался понять только одно: как это может быть, что человек вот только что хотел позвонить по телефону, а потом, а потом... А потом... и не мог понять.

Народ разбежался от места происшествия, возбужденно перекрикиваясь словами. Иван их слов не воспринимал. Но востроносая баба в ситце другой бабе над самым ухом Бездомного закричала так:

— Аннушка... Аннушка, говорю тебе, Гречкина с Садовой, рядом, из десятого номера... Она... она... Взяла на Бронной в кооперативе постного масла по второму талону... да банку-то и разбей у вертушки... Уж она ругалась, ругалась... А он, бедняга, стало быть, и поскользнулся... вот из-под вертушки-то и вылетел...

Дальнейшие слова угасли.

Из всего выкрикнутого бабой одно слово вцепилось в больной мозг Бездомного, и это слово было «Аннушка».

— Аннушка? Аннушка... — мучительно забормотал Бездомный, стараясь вспомнить, что

связано с этим именем.

Тут из тьмы выскочило еще более страшное слово «постное масло», а затем почему-то Понтий Пилат. Слова эти связались, и Иван, вдруг обезумев, встал со скамьи. Ноги его еще дрожали.

— Что та-кое? Что?! — спросил он сам у себя. — Аннушка?! — выкрикнул он вслед бабам.

— Аннуш... Аннуш... — глухо отозвалась баба.

Черный и мутный хлам из головы Ивана вылетел, и ее изнутри залило очень ярким светом. В несколько мгновений он подобрал цепь из слов и происшествий, и цепь была ужасна.

Тот самый профессор за час примерно до смерти знал, что Аннушка разольет постное масло... «Я буду жить в вашей квартире»... «вам отрежет голову»... Что же это?!

Не могло быть ни тени, ни зерна сомнения в том, что сумасшедший профессор знал, фотографически точно знал заранее всю картину смерти!

Свет усилился, и все существо Ивана сосредоточилось на одном: сию же минуту найти профессора... а найдя, взять его. Ах, ах, не ушел бы, только бы не ушел!

Но профессор не ушел.

Солнца не было уже давно. На Патриарших темнело. Над Прудом в уголках скопился туман. В

бледнеющем небе стали проступать беленькие пятнышки звезд. Видно было хорошо.

Он — профессор, ну, может быть, и не профессор, ну, словом, он стоял шагах в двадцати и рисовался очень четко в профиль. Теперь Иван разглядел, что он росту, действительно, громадного, берет заломлен, трость взята под мышку.

Отставной втируша-регент сидел рядом на скамейке. На нос он нацепил себе явно ненужное ему пенсне, в коем одного стеклышка не существовало. От этого пенсне регент стал еще гаже, чем тогда, когда провожал Берлиоза на рельсы.

Чувствуя, что дрожь в ногах отпускает его, Иван с пустым и холодным сердцем приблизился к профессору.

Тот повернулся к Ивану. Иван глянул ему в лицо и понял, что стоящий перед ним и никогда даже не был сумасшедшим.

— Кто вы такой? — хрипло и глухо спросил Иван.

— Ich verstehe nicht, — ответил тот неизвестный, пожав плечами.

— Они не понимают, — пискливо сказал регент, хоть его никто и не просил переводить.

— Их фершт... вы понимаете! Не притворяйтесь, — грозно и чувствуя холод под

ложечкой, продолжал Иван.

Немец смотрел на него, вытаращив глаза.

— Вы не немец. Вы не профессор, — тихо продолжал Иван. — Вы — убийца. Вы отлично понимаете по-русски. Идемте со мной.

Немец молчал и слушал.

— Документы! — вскрикнул Иван...

— Was ist den los?..

— Гражданин! — ввязался регент, — не приставайте к иностранцу!

Немец пожал плечами, грозно нахмурился и стал уходить.

Иван почувствовал, что теряется. Он, задыхаясь, обратился к регенту:

— Эй... гражданин, помогите задержать преступника!

Регент оживился, вскочил.

— Который преступник? Где он? Иностранец преступник? — закричал он, причем глазки его радостно заиграли. — Этот? Гражданин, кричите «караул»! А то он уходит!

И регент предательски засуетился.

— Караул! — крикнул Иван и ужаснулся, никакого крика у него не вышло. — Караул! — повторил он, и опять получился шепот.

Великан стал уходить по аллее, направляясь к

Ермолаевскому переулку<sup>10</sup>. Еще более сгустились сумерки, Ивану показалось, что тот, уходящий, несет длинную шпагу.

— Вы не смотрите, гражданин, что он хромой, — засипел подозрительный регент, — покеды вы ворон будете считать, он улизнет.

Регент дышал жарко селедкой и луком в ухо Ивану, глазок в треснувшем стекле подмигивал.

— Что вы, товарищ, под ногами путаетесь, — закричал Иван, — пустите, — он кинулся влево. Регент тоже. Иван вправо — регент вправо.

Долго они плясали друг перед другом, пока Иван не сообразил, что и тут злой умысел.

— Пусти! — яростно крикнул он, — эге-ге, да у вас тут целая шайка.

Блуждая глазами, он оглянулся, крикнул тонко:

— Граждане! На помощь! Убийцы!

Крик дал обратный результат: гражданин вполне пристойного вида, с дамочкой в сарафане под руку, тотчас брызнул от Иванушки в сторону. Смылся и еще кто-то. Аллея опять опустела.

В самом конце аллеи неизвестный остановился и повернулся к Ивану. Иван выпустил рукав регента, замер.

---

<sup>10</sup> ...к Ермолаевскому переулку. — Ермолаевский переулок в 1961 г. был переименован в улицу Жолтовского.

В пяти шагах от Ивана Бездомного стоял иностранный специалист в берете, рядом с ним, подхалимски улыбаясь, сомнительный регент, а кроме того неизвестного откуда-то взявшийся необыкновенных размеров, черный, как грач, кот с кавалерийскими отчаянными усами. Озноб прошиб Иванушку оттого, что он ясно разглядел, что вся троица вдруг улыбнулась ему, в том числе и кот. Это была явно издевательская, скверная усмешка могущества и наглости.

Улыбнувшись, вся троица повернулась и стала уходить. Чувствуя прилив мужества, Иван устремился за нею. Тройка вышла на Садовое кольцо. Тут сразу Иван понял, что догнать ее будет очень трудно.

Казалось бы, таинственный неизвестный и шагу не прибавлял, а между тем расстояние между уходящими и преследующим ничуть не сокращалось. Два или три раза Иван сделал попытку прибегнуть к содействию прохожих. Но его искусанные руки, дикий блуждающий взор были причиной того, что его приняли за пьяного, и никто не пришел ему на помощь.

На Садовой произошла просто невероятная сцена. Явно желая спутать следы, шайка применила излюбленный бандитский прием — идти

врассыпную.

Регент с великой ловкостью на ходу сел в первый пронсящийся трамвай под литерой «Б», как змея, ввинтился на площадку и, никем не оштрафованный, исчез бесследно среди серых мешков и бидонов, причем «Б», окутавшись пылью, с визгом, грохотом и звоном унес регента к Смоленскому рынку, а странный кот попытался сесть в другой «Б», встречный, идущий к Тверской. Иван ошалело видел, как кот на остановке подошел к подножке и, ловко отсадив взвизгнувшую женщину, зацепился лапой за поручень и даже собрался вручить кондукторше гривенник. Но поразило Ивана не столько поведение кота, сколько кондукторши. Лишь только кот устроился на ступеньке, все лампы в трамвае вспыхнули, показав внутренность, и при свете их Иван видел, как кондукторша с остервенелым лицом высунулась в окно и, махая рукой, со злобой, от которой даже тряслась, начала кричать:

— Котам нельзя! Котам нельзя! Слезай! А то милицию позову!

Но не только кондукторшу, никого из пассажиров не поразила самая суть дела: что кот садится в трамвай самостоятельно и собирается платить. В трамвае не прекратился болезненный стон, так же слышались крики ненависти и отчаяния, так же давили женщин, так же крали



кошельки, так же поливали друг друга керосином и полотерской краской.

Самым дисциплинированным показал себя все-таки кот. Он поступил именно так, как и всякий гражданин, которого изгоняют из трамвая, но которому ехать нужно, чего бы это ни стоило.

При первом же визге кондукторши он легко снялся с подножки и сел на мостовой, потирая гривенником усы. И лишь снялся трамвай и пошел, он, пропустив мимо себя и второй, и последний вагон, прыгнул и уселся на заднюю дугу, а лапой ухватился за какую-то кишку, выходящую из стенки вагона, и умчался, сделав на прощание ручкой.

Иван бешеным усилием воли изгнал из пылающей головы мысли о странном коте, естественно напрасившиеся молниеносно вопросы о коте в кооперативе, покупающем масло, о коте в сберкассе, о коте, летящем на аэроплане.

Его воля сосредоточилась на том, чтобы поймать того, кого он считал главным в этой подозрительной компании, — иностранного консультанта. Тот, проводив взором своих разлетевшихся в противоположные стороны компаньонов, не сделал никаких попыток к позорному бегству. Нет, он тронулся не спеша по Садовой, а через несколько времени оказался на Тверской.

Иван прибавлял шагу, начинал бежать впритруску, порою задыхался от скорости собственного бега и ни на одну йоту не приблизился к неизвестному, и по-прежнему плыл метрах в десяти впереди его сиреневый желанный берет.

Одна странность ускользнула от Иванушки — не до этого ему было. Не более минуты прошло, как с Патриарших по Садовой, по Тверской.....

....оказались на Центральном телеграфе. Тут Иванушка сделал попытку прибегнуть к помощи милиции, но безрезультатно. На скрещении Тверской не оказалось ни одного милиционера, кроме того, который, стоя у электрического прибора, регулировал движение.

Неизвестный проделал такую штуку: вошел в одни стеклянные двери, весь телеграф внутри обошел и вышел через другую дверь. Соответственно этому пришлось и Ивану пронестись мимо всех решительно окошек в стеклянной загородке и выбежать на гранитный амвон. Далее пошло хуже. Обернувшись, Иванушка увидел, что он уже на Остоженке в Савеловском переулке<sup>11</sup>. Неизвестный вошел в подъезд дома

---

<sup>11</sup> ...в Савеловском переулке. — С 1922 г. переулок стал называться Савельевским.

№ 12.

Собственно говоря, Ивану давно уже нужно было бы прекратить неистовую и бесплодную погоню, но он находился в том странном состоянии, когда люди не отдают себе никакого отчета в том, что происходит.

Иван устремился в подъезд, увидел обширнейший вестибюль, черный и мрачный, увидел мертвый лифт, а возле лифта швейцара.

Швейцар выкинул какой-то фокус, который Иван так и не осмыслил. Именно: швейцар, заросший и опухший, отделился от сетчатой стенки, снял с головы фуражку, на которой в полутьме поблескивали жалкие обрывки позумента, и сипло и льстиво сказал:

— Зря беспокоились. Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть <sup>12</sup>. Сказали, что

---

<sup>12</sup> *Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть.* — Один из самых близких друзей Булгакова — Н. Н. Лямин, филолог, жил в Савеловском переулке в доме № 12, в большой коммунальной квартире. Эту квартиру Булгаков прекрасно знал, поскольку здесь он читал друзьям почти все свои произведения: «Белую гвардию», «Зойкину квартиру», «Багровый остров», «Кабалу святош». К Лямину Булгаков многие годы ходил играть в шахматы.

Боря — вероятно, Борис Валентинович Шапошников (1890–1956), художник, познакомился с Булгаковым у Лямина в 1925 г. и с тех пор дружил с писателем многие годы.

каждую среду будут ходить, а летом собираются на пароходе с супругой. Сказали, что хоть умрут, а поедут.

И швейцар улыбнулся тою улыбкою, которой улыбаются люди, желающие получить на чай.

Не желая мучить себя вопросом о том, кто такой Боря, какие шахматы, не желая объяснять заросшему паршивцу, что он, Иван, не он, а другой, Иван уловил обострившимся слухом, что стукнула дверь на первой площадке, одним духом влетел и яростно позвонил. Сердце Ивана било набат, изо рта валил жар. Он решил идти на все, чтобы остановить таинственного убийцу в берете.

На звонок тотчас же отозвались, дверь Ивану открыл испитый, неизвестного пола ребенок лет пяти и тотчас исчез. Иван увидел освещенную тусклой лампочкой заросшую грязную переднюю с кованым сундуком, разглядел на вешалке бобровую шапку и, не останавливаясь, проник в коридор. Решив, что его враг должен быть непременно в ванной, а вот эта дверь и есть в ванную, Иван рванул ее. Крючок брякнул и слетел. Иван убедился в том, что не ошибся. Он попал в ванную комнату и в тусклом освещении угольной лампочки увидел в ванне стоящую голую даму в мыле с крестом на шее. Дама, очевидно, близорукая, прищурилась и, не выражая никакого изумления, сказала:

— Бросьте трепаться. Мы не одни в квартире,

и муж сейчас вернется.

Иван, как ни был воспален его мозг, понял, что вляпался, что произошел конфуз и, желая скрыть его, прошептал:

— Ах, развратница!

Он захлопнул дверь, услышал, что грохнула дверь в кухне, понял, что беглец там, ринулся и точно увидел его. Он, уже в полных сумерках, прошел гигантской тенью из коридора налево.

Ворвавшись вслед за ним в необъятную пустую кухню, Иван утратил преследуемого и понял, что тот ускользнул на черный ход. Иван стал шарить в темноте. Но дверь не поддавалась. Он зажег спичку и увидел на ящике у дверей стоящую в подсвечнике тоненькую церковную свечу. Он зажег ее. При свете ее справился с крючком, болтом и замком и открыл дверь на черную лестницу. Она была не освещена. Тогда Иван решил свечку присвоить, присвоил и покатил, захлопнув дверь, по черной лестнице.

Он вылетел в необъятный двор и на освещенном из окон балконе увидел убийцу. Уже более не владея собой, Иванушка засунул свечечку в карман, набрал битого кирпичу и стал садить в балкон. Консультант исчез. Осколки кирпича с грохотом посыпались с балкона, и через минуту Иван забился трепетно в руках того самого швейцара, который приставал с Борей и

шахматами.

— Ах ты, хулиган! — страдая искренно, засипел швейцар. — Ты что же это делаешь? Ты не видишь, какой это дом? Здесь рабочий элемент живет, здесь цельные стекла, медные ручки, штучный паркет!

И тут швейцар, соскучившийся, ударил с наслаждением Ивана по лицу.

Швейцар оказался жилистым и жестоким человеком. Ударив раз, он ударил два, очевидно входя во вкус. Иван почувствовал, что слабеет. Жалобным голосом он сказал:

— Понимаешь ли ты, кого ты бьешь?

— Понимаю, понимаю, — задыхаясь, ответил швейцар.

— Я ловлю убийцу консультанта, знакомого Понтия Пилата, с тем чтобы доставить его в ГПУ.

Тут швейцар в один миг преобразился. Он выпустил Иванушку, стал на колени и взмолился:

— Прости! Не знал. Прости. Мы здесь на Остоженке запутались и кого не надо лупим.

Некоторые проблески сознания еще возвращались к Иванушке. Едкая обида за то, что швейцар истязал его, поразила его сердце, и, вцепившись в бороду швейцара, он оттрепал его, произнеся нравоучение:

— Не смей в другой раз, не смей!

— Прости великодушно, — по-христиански

ответил усмиренный швейцар.

Но тут и швейцар, и асфальтовый двор, и громады, выходящие своими бесчисленными окнами во двор, все это исчезло из глаз бедного Ивана, и сам он не понял и никто впоследствии не понимал, каким образом он увидел себя на берегу Москвы-реки.

Огненные полосы от фонарей шевелились в черной воде, от которой поднимался резкий запах нефти. Под мостом, в углах зарождался туман. Сотни людей сидели на берегу и сладострастно снимали с себя одежды. Слышались тяжелые всплески — люди по-лягушачьи прыгали в воду и, фыркая, плавали в керосиновых волнах.

Иван прошел меж грудями одеяний и голыми телами прямо к воде. Иван был ужасен. Волосы его слиплись от поту перьями и свисли на лоб. На правой щеке была ссадина, под левым глазом большой фонарь, на губе засохла кровь. Ноги его подгибались, тело ныло, покрытое липким потом, руки дрожали. Всякая надежда поймать страшного незнакомца пропала. Ивану казалось, что голова его горит от мыслей о черном коте — трамвайном пассажире, от невозможности понять, как консультант ухитрился.....

Он решил броситься в воду, надеясь в ней найти облегчение. Бормоча что-то самому себе, шмыгая и вытирая разбитую губу, он совлек с себя

одеяние и опустился в воду. Он нашел желанное облегчение в воде. Тело его ожило, окрепло. Но голове вода не помогла. Сумасшедшие мысли текли в ней потоком.

Когда Иванушка вышел на берег, он убедился в том, что его одежды нет. Вместо оставленной им груды платья находились на берегу вещи, виденные им впервые. Необыкновенно грязные полотняные кальсоны и верхняя рубашка-ковбойка с продраным локтем. Из вещей же, еще недавно принадлежащих Ивану, оставлена была лишь стеариновая свеча.

Иван, не особенно волнуясь, огляделся, но ответа не получил и, будучи равнодушен к тому, во что одеваться, надел и ковбойку, и кальсоны, взял свечу и покинул берег.

Он вышел на Остоженку и пошел к тому месту, где некогда стоял Храм Христа Спасителя. Наряд Иванушкин был странен, но прохожие мало обращали на него внимания — дело летнее.

— В Кремль, вот куда! — сказал сам себе Иванушка и, оглянувшись, убедился, что в Москве уж наступил полный вечер, то есть очередей у магазинов не было, огненные часы светились, все окна были раскрыты и в них виднелись или голые лампочки, или лампочки под оранжевыми абажурами. В подворотнях играли на гитарах и на гармониях, и грузовики ездили с сумасшедшей



скоростью.

— В Кремль! — повторил Иванушка, с ужасом оглядываясь. Теперь его уже пугали огни грузовиков, трамвайные звонки и зеленые вспышки светофоров.

## Дело было в Грибоедове

К десяти часам вечера в так называемом доме Грибоедова <sup>13</sup>, в верхнем этаже, в кабинете товарища Михаила Александровича Берлиоза собралось человек одиннадцать народу. Народ этот отличался необыкновенной разношерстностью <sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> ...в так называемом доме Грибоедова... — Имеется в виду Дом Герцена (Тверской бул., д. 25). До 1933 г. в нем размещались Всероссийский Союз писателей и различные литературные организации, затем — Литературный институт им. А. М. Горького.

<sup>14</sup> Народ этот отличался необыкновенной разношерстностью. — Видимо, Булгакову доставляло удовольствие поиздеваться над писательским цехом. В черновых тетрадях писателя сохранился небольшой отрывок на эту тему из главы, которая была уничтожена:

«— Дант?! Да что же это такое, товарищи дорогие?! Кто? Дант! Ка-ккая Дант! Товарищи! Безобразие! Мы не допустим!

Взревело так страшно, что председатель изменился в лице. Жалобно тенькнул колокольчик, но ничего не помог.

---

В проход к эстраде прорвалась женщина. Волосы ее стояли дыбом, изо рта торчали золотые зубы. Она то заламывала костлявые руки, то била себя в изможденную грудь. Она была страшна и прекрасна. Она была та самая женщина, после появления которой и первых иступленных воплей толпа бросается на дворцы и зажигает их, сшибает трамвайные вагоны, раздирает мостовую и выпускает тучу камней, убивая...

Председатель, впрочем, был человек образованный и понял, что случилась беда.

— Я! — закричала женщина, страшно раздирая рот. — Я — Караулина, детская писательница! Я! Я! Я! Мать троих детей! Мать! Я! Написала, — пена хлынула у нее изо рта, — тридцать детских пьес! Я! Написала пять колхозных романов! Я шестнадцать лет не покладая рук... Окна выходят в сортир, товарищи, и сумасшедший с топором гоняется за мной по квартире. И я! Я! Не попала в список! Товарищи!

Председатель даже не звонил. Он стоял, а правление лежало, откинувшись на спинки стула.

— Я! И кто же? Кто? Дант. Учившаяся на зубо­врачебных курсах. Дант, танцующая фокстрот, попадает в список одной из первых. Товарищи! — закричала она тоскливо и глухо, возведя глаза к потолку, обращаясь, очевидно, к тем, кто уже покинул волчий мир скорби и забот. — Где же справедливость?!

И тут такое случилось, чего не бывало ни на одном собрании никогда. Товарищ Караулина, детская писательница, закусив кисть правой руки, на коей сверкало обручальное кольцо, завалилась набок и покати­лась по полу в проходе, как бревно, сброшенное с платформы. Зал замер, но затем чей-то голос грозно рявкнул:

— Вон из списка!

---

— Вон! Вон! — загремел зал так страшно, что у председателя застыла в жилах кровь.

— Вон! В Гепеу этот список! — взмыл тенор.

— В Эркаи!

Караулину подняли и бросили на стул, где она стала трястись и всхрипывать. Кто-то полез на эстраду, причем все правление шарахнулось, но выяснилось, что он лез не драться, а за графином. И он же облил Караулиной кофточку, пытаясь ее напоить.

— Стоп, товарищи! — прокричал кто-то властно, и бушующая масса стихла.

— Организованно, — продолжал голос.

Голос принадлежал плечистому парню, вставшему в седьмом ряду. Лицо выдавало в нем заводилу, типичного бузотера, муристого парня. Кроме того, на лице этом было написано, что в списке этого лица нет.

— Товарищ председатель, — играя змеиными переливами, заговорил бузотер, — не откажите информировать собрание: к какой писательской организации принадлежит гражданка Беатриче Григорьевна Дант? Р-раз. Какие произведения написала упомянутая Дант? Два. Где означенные произведения напечатаны? Три. И каким образом она попала в список?

„Говорил я Перштейну, что этому сукиному сыну надо дать комнату“, — тоскливо подумал председатель.

Вслух же спросил бодро:

— Все? — и неизвестно зачем позвонил в колокольчик.

— Товарищ Беатриче Григорьевна Дант, — продолжал он, — долгое время работала в качестве машинистки и помощника секретаря в кабинете имени Грибоедова.

Зал ответил на это сатанинским хохотом.

— Товарищи! — продолжал председатель, — будьте же

---

сознательны! — Он завел угасающие глаза на членов правления и убедился, что те его предали.

— Покажите хоть эту Дант! — рявкнул некто. — Дайте полюбоваться!

— Вот она, — глухо сказал председатель и ткнул пальцем в воздух.

И тут многие встали и увидели в первом ряду необыкновенной красоты женщину. Змеиные косы были уложены корзинкой на царственной голове. Профиль у нее был античный, так же как и фас. Цвет кожи был смертельно бледный. Глаза были открыты, как черные цветы. Платье — кисейное желтое. Руки ее дрожали.

— Товарищ Дант, товарищи, — говорил председатель, — входит в одно из прямых колен известного писателя Данте, — и тут же подумал: „Господи, что же это я отмочил такое?!“

Вой, грохот потряс зал. Что-нибудь разобрать было трудно, кроме того, что Данте не Григорий, какие-то мерзости про колено и один вопль:

— Издевательство!

И крик:

— В Италию!!

— Товарищи! — закричал председатель, когда волна откатилась. — Товарищ Дант работает над биографией мадам Севинье.

— Вон!

— Товарищи! — кричал председатель безумно. — Будьте благоразумны. Она — беременна!

И почувствовал, что и сам утонул, и Беатриче утопил.

Но тут произошло облегчение. Аргумент был так нелеп, так странен, что на несколько мгновений зал заковенел с открытыми ртами. Но только на мгновения.

А затем — вой звериный:

Так, один был в хорошем, из парижской материи, костюме и крепкой обуви, тоже французского производства. Это был председатель секции драматургов Бескудников. Другой в белой рубашке без галстука и в белых летних штанах с пятном от яичного желтка на левом колене. Помощник председателя той же секции Понырев. Обувь на Поныреве была рваная. Батальный беллетрист Почкин, Александр Павлович, почему-то имел при себе цейсовский бинокль в футляре и одет был в защитном. Некогда богатая купеческая дочь Доротея Савишна Непременова подписывалась псевдонимом «Боцман-Жорж» и писала военно-морские пьесы, из которых ее последняя «Австралия горит» с большим успехом шла в одном из театров за Москвой-рекой. У Боцмана-Жоржа голова была в кудряшках. На Боцмане-Жорже была засаленная шелковая кофточка старинного фасона и кривая юбка. Боцману-Жоржу было 66 лет.

Секция скетчей и шуток была представлена небритым человеком, облаченным в пиджак поверх

---

— В родильный дом!

Тогда председатель понял, что не миновать открыть козырную карту.

— Товарищи! — вскричал он.

— Товарищ Дант получила солидную авторитетную рекомендацию.

— Вот как! — прокричал кто-то...»

майки, и в ночных туфлях.

Поэтов представлял молодой человек с жестоким лицом. На нем солдатская куртка и фрачные брюки. Туфли белые.

Были и другие.

Вся компания очень томилась, курила, хотела пить. В открытые окна не проникала ни одна струя воздуха. Москва как наполнилась зноем за день, так он и застыл, и было понятно, что ночь не принесет вдохновения.

— Однако вождь-то наш запаздывает, — вольно пошутил поэт с жестоким лицом — Житомирский.

Тут в разговор вступила Секлетая Савишна и заметила густым баритоном:

— Хлопец на Клязьме закупался.

— Позвольте, какая же Клязьма? — холодно заметил Бескудников и вынул из кармана плоские заграничные часы. И часы эти показали<sup>15</sup> .....

Тогда стали звонить на Клязьму и прокляли жизнь. Десять минут не соединялось с Клязьмой. Потом на Клязьме женский голос врал какую-то чушь в телефон. Потом вообще не с той дачей соединили. Наконец соединились с той, с какой было нужно, и кто-то далекий сказал, что товарища

---

<sup>15</sup> *И часы эти показали...* — В этом месте вырван лист.

Цыганского вообще не было на Клязьме. В четверть двенадцатого произошел бунт в кабинете товарища Цыганского, и поэт Житомирский заметил, что товарищ Цыганский мог бы позвонить, если обстоятельства не позволяют ему прибыть на заседание.

Но товарищ Цыганский никому и никуда не мог позвонить. Цыганский лежал на трех цинковых столах под режущим светом прожекторов. На первом столе — окровавленное туловище, на втором — голова с выбитыми передними зубами и выдавленным глазом, на третьем — отрезанная ступня, из которой торчали острые кости, а на четвертом — грудa тряпья и документы, на которых засохла кровь. Возле первого стола стояли профессор судебной медицины, прозектор в коже и в резине и четыре человека в военной форме с малиновыми нашивками, которых к зданию морга, в десять минут покрыв весь город, примчала открытая машина с сияющей борзой на радиаторе. Один из них был с четырьмя ромбами на воротнике.

Стоящие возле столов обсуждали предложение прозектора — струнами пришить голову к туловищу, на глаз надеть черную повязку, лицо загримировать, чтобы те, которые придут поклониться праху погибшего командора Миолита, не содрогались бы, глядя на изуродованное лицо.

Да, он не мог позвонить, товарищ Цыганский.

И в половину двенадцатого собравшиеся на заседание разошлись. Оно не состоялось совершенно так, как и сказал незнакомец на Патриарших Прудах, ибо заседание величайшей важности, посвященное вопросам мировой литературы, не могло состояться без председателя товарища Цыганского. А председательствовать тот человек, у которого документы залиты кровью, а голова лежит отдельно, — не может. И все разошлись кто куда.

А Бескудников и Боцман-Жорж решили спуститься вниз, в ресторан, чтобы закусить на сон грядущий.

Писательский ресторан<sup>16</sup> помещался в этом

---

<sup>16</sup> *Писательский ресторан...* — О писательском ресторане написано много злых слов (достаточно вспомнить стихотворение В. В. Маяковского «Дом Герцена»). Печальная его слава в те годы докатилась и до зарубежья. Вот что писала, например, рижская газета «Сегодня» 2 апреля 1928 г., пересказывая материалы нашей прессы:

«Подвал дома Герцена напоминает кафе в Париже. Стены и занавески размалеваны угловатыми павлинами и попугаями... Высохшая фигура неизвестной поэтессы, бессмысленные глаза, несомненное знакомство с наркотиками, жирный затылок, невероятные шевелюры, вчера выкупленный из таможи английский костюм и рядом засаленная толстовка.

Великолепен метрдотель Яков Данилович и его борода приводит многих в дикий восторг!

Здесь много молодежи, молодежь шумно разговаривает,



же доме Грибоедова (дом назван был Грибоедовским, так как по преданию он принадлежал некогда тетке Грибоедова. Впрочем, кажется, никакой тетки у Грибоедова не было) в подвале и состоял летом из двух отделений — зимнего и летней веранды, над которою был устроен навес.

Ресторан был любим бесчисленными московскими писателями до крайности, и не одними, впрочем, писателями, а также и артистами, а также и лицами, профессии которых были неопределимы, даже и при длительном знакомстве.

В ресторане можно было получить все те блага, коих в повседневной своей жизни на квартирах люди искусства были в значительной степени лишены. Здесь можно было съесть порцию икорки, положенной на лед, потребовать себе плотный бифштекс по-деревенски, закусить ветчинкой, сардинами, выпить водочки, закрыть

---

шумно и много пьет...

Кто-то уже судорожно трясется над клавишами рояля. Чарльстон. Ножами по тарелкам бьют в такт танцующим, начинается вой выкриков, свист и... модное:

*„Алли-луя-а-а!“*

Между столиками на руках с акробатической ловкостью ходит поэт Иван П. Ему бурно аплодируют.

У ограды дома извозчики подхватывают пары, стадо разъезжается...»

ужин кружкой великолепного ледяного пива. И все это вежливо, на хорошую ногу, при расторопных официантах. Ах, хорошо пиво в июльский зной!

Как-то расправлялись крылья под тихий говорок официанта, рекомендующего прекрасный рыбец, начинало казаться, что это все так, ничего, что это как-нибудь уладится.

Мудреного ничего нет, что к полуночи ресторан был полон и Бескудников, и Боцман-Жорж, и многие еще, кто пришел поздно, места на веранде в саду уже не нашли, и им пришлось сидеть в зимнем помещении в духоте, где на столах горели лампы под разноцветными зонтами.

К полуночи ресторан загудел. Поплыл табачный дым, загремела посуда. А ровно в полночь в зимнем помещении, в подвале, в котором потолки были расписаны ассирийскими лошадьми с завитыми гривами, вкрадчиво и сладко ударил рояль, и в две минуты нельзя было узнать ресторана. Лица дрогнули и засветились, заулыбались лошади, кто-то спел «Аллилуйя»<sup>17</sup>,

---

<sup>17</sup> ...кто-то спел «Аллилуйя»... — Фокстрот «Аллилуйя!» был написан американским композитором Винсентом Юмансом (русский текст П. Германа), что, в сущности, является кощунством. Не случайно эта музыка звучит на «великом бале у сатаны».

где-то с музыкальным звоном разлетелся бокал, и тут же, в подвале, и на веранде заплясали. Играл опытный человек. Рояль разражался громом, затем стихал, потом с тонких клавиш начинали сыпаться отчаянные, как бы предсмертные петушинные крики. Плясал солидный беллетрист Дорофеин, плясали какие-то бледные женщины, все одеяние которых состояло из тоненького куска дешевого шелка, который можно было смять в кулак и положить в карман, плясала Боцман-Жорж с поэтом Гречкиным Петром, плясал какой-то приезжий из Ростова Каротояк, самородок Иоанн Кронштадтский — поэт, плясали молодые люди неизвестных профессий с холодными глазами.

Последним заплясал какой-то с бородой, с пером зеленого лука в этой бороде, обняв тощую девочку лет шестнадцати с порочным лицом. В волнах грома слышно было, как кто-то кричал командным голосом, как в рупор, «пожарские, раз!».

И в полночь было видение. Пройдя через подвал, вышел на веранду под тент красавец во фраке, остановился и властным взглядом оглядел свое царство. Он был хорош, бриллиантовые перстни сверкали на его руках, от длинных ресниц ложилась тень у горделивого носа, острая холеная борода чуть прикрывала белый галстук.

И утверждал новеллист Козовертов,

известный лгун, что будто бы этот красавец некогда носил не фрак, а белую рубаху и кожаные штаны, за поясом которых торчали пистолеты, и воронова крыла голова его была повязана алой повязкой, и плавал он в Караибском море, командуя бригам, который ходил под гробовым флагом — черным с белой Адамовой головой.

Ах, лжет Козовертов, и нет никаких Караибских морей, не слышен плеск за кормой, и не плывут отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними английский корвет, тяжко бухая над волной из пушек. Нет, нет, ничего этого нет! И плавится лед в стеклянной вазочке, и душно, и странный страх вползает в душу.

Но никто, никто из плясавших еще не знал, что ожидает их!

В десять минут первого фокстрот грохнул и прекратился, как будто кто-то нож всадил в сердце пианиста, и тотчас фамилия «Берлиоз» запорхала по ресторану. Вскокивали, вскрикивали, кто-то воскликнул: «Не может быть!» Не обошлось и без некоторой ерунды, объясняемой исключительно смятением. Так, кто-то предложил спеть «Вечную память», правда, вовремя остановили. Кто-то воскликнул, что нужно куда-то ехать. Кто-то предложил послать коллективную телеграмму. Тут же змейкой порхнула сплетня и как венчиком обвила покойного. Первое — неудачная любовь.

Акушерка Кандалаки. Аборт. Самоубийство (автор — Боцман-Жорж).

Второе — шепоток: впал в уклон.....

## Степа Лиходеев<sup>18</sup>

Если бы Степе Лиходееву в утро второго июля сказали: «Степа, тебя расстреляют, если ты не откроешь глаз!» — Степа ответил бы томным и хриплым голосом:

— Расстреливайте, я не открою.

Ему казалось, что сделать это невысказанно: в голове у него звенели колокола, даже перед закрытыми глазами проплывали какие-то коричневые пятна, и при этом слегка тошнило, причем ему казалось, что тошнит его от звуков маленького патефона. Он старался что-то припомнить. Но припомнить мог только одно, что он стоит с салфеткой в руке и целуется с какой-то дамой, причем этой даме он обещал, что он к ней придет завтра же, не позже двенадцати часов, причем дама отказывалась от этого, говорила: нет, не приходите.

— А я приду, — говорил будто бы Степа.

Ни который час, ни какое число, — этого

---

<sup>18</sup> Степа Лиходеев. — Вариант названия главы: «Степа».

Степа не мог сообразить. Единственно, что он помнил, это год, и затем, сделав все-таки попытку приоткрыть левый глаз, убедился, что он находится у себя и лежит в постели. Впрочем, он его тотчас же и закрыл, потому что был уверен, что если он только станет смотреть обоими глазами, то тотчас же перед ним сверкнет молния и голову ему разорвет на куски.

Он так страдал, что застонал...

Дело было вот в чем.

Степа Бомбеев был красным директором<sup>19</sup> недавно открывшегося во вновь отремонтированном помещении одного из бывших цирков театра Кабаре.

Впоследствии, когда уже случилась беда, многие интересовались вопросом, почему Степа попал на столь ответственный пост, но ничего не добились. Впрочем, это и неважно в данное время.

28-летний Степа Бомбеев лежал второго июля на широкой постели вдовы ювелира Де-Фужерэ.

У Де-Фужерэ была в громадном доме на Садовой прекрасная квартира в четыре комнаты, из которых она две сдавала, а в двух жила сама, избегнув уплотнения в них путем фальшивой

---

<sup>19</sup> Степа Бомбеев был красным директором... — В последующих редакциях слово «красный» было Булгаковым изъято, фамилия Бомбеев изменена на Лиходеева.

прописки в них двоюродной сестры, изредка ночующей у нее, дабы не было придирки. Последними квартирантами Де-Фужерэ были Михаил Григорьевич Беломут и другой, фамилия которого, кажется, была Кирьяцкий. И за Кирьяцким, и за Беломутом утром ежедневно приезжали машины и увозили их на службу. Все шло гладко и бесподобно, пока два года тому назад не произошло удивительное событие, которое решительно ничем нельзя объяснить. Именно, в двенадцать часов ночи явился очень вежливый и веселый милиционер к Кирьяцкому и сказал, что ему надо расписаться в милиции. Удивленный Кирьяцкий ушел с милиционером, но не вернулся. Можно было думать, что и Кирьяцкого, и милиционера унесла нечистая сила, как говорила старая дура Анфиса — кухарка Де-Фужерэ.

Дня через два после этого случилось новенькое: пропал Беломут. Но за тем даже никто и не приходил. Он утром уехал на службу, а со службы не приехал. Колдовству стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Беломут, по счету Анфисы, пропал в пятницу, а в ближайший понедельник он появился глубокой и черной ночью. И появился в странном виде. Во-первых, в компании с каким-то другим гражданином, а во-вторых, почему-то без воротничка, без галстука и небритый и не

произносящий ни одного слова. Приехав, Беломут проследовал вместе со своим спутником в свою комнату, заперся с ним там минут на десять, после чего вышел, так ничего и не объяснив, и отбыл. После этого понедельник наступил вторник, за ним — среда, и в среду приехали незваные — двое каких-то граждан, опять-таки ночью, и увезли с собой и Де-Фужерэ, и Анфису, после чего уж вообще никто не вернулся. Надо добавить, что, уезжая, граждане, увозившие Де-Фужерэ и Анфису, закрыли дверь на замок и на этот замок привесили сургучную печать.

Квартира простояла закрытой десять дней, а после десяти дней печать с двери исчезла и в квартире поселился и зажил Михаил Максимович Берлиоз — на половине Де-Фужерэ, а на половине Беломута и Кирьяцкого поселился Степа. За два этих года Берлиоз развелся со своей женой и остался холостым, а Степа развелся два раза.

Степа застонал. Его страдания достигли наивысшего градуса. Болезнь его теперь приняла новую форму. Из закрытых глаз его потекли зеленые бенгальские огни, а задняя часть мозга окостенела. От этого началась такая адская боль, что у Степы мелькнула серьезная мысль о самоубийстве — в первый раз в жизни. Тут он хотел позвать прислугу и попросить у нее пирамидону, и никого не позвал, потому что вдруг с



отчаянием сообразил, что у прислуги нет решительно никакого пирамидону. Ему нужно было крикнуть и позвать Берлиоза — соседа, но он забыл, что Берлиоз живет в той же квартире. Он ощутил, что он лежит в носках, «и в брюках?» — подумал несчастный больной. Трясущейся рукой он провел по бедрам, но не понял — не то в брюках, не то не в брюках, глаза же не открыл.

Тут в передней, неокостеневшей части мозга, как черви, закопошились воспоминания вчерашнего. Это вчерашнее прошло в виде зеленых, источающих огненную боль обрывков. Вспомнилось начало: кинорежиссер Чембакчи и автор малой формы Хустов, и один из них с плетенкой, в которой были бутылки, усаживали Степу в таксомотор под китайской стеной. И все. Что дальше было — решительно ничего не известно.

— Но почему же деревья?.. Ах-ах... — стонал Степа.

Тут под деревом и выросла эта самая дама, которую он целовал. Только не «Метрополь»! Только не «Метрополь»!

— Почему же это было не в «Метрополе»? — беззвучно спросил сам у себя Степа, и тут его мозг буквально запылал.

Патефона, никакого патефона в «Метрополе» быть не может. Слава Богу, это не в «Метрополе»!

Тут Степа вынес такое решение, что он все-таки откроет глаза, и, если сверкнет эта молния, тогда он заплачет. Тогда он заплачет и будет плакать до тех пор, пока какая-нибудь живая душа не облегчит его страдания. И Степа разлепил опухшие веки, но заплакать ему не пришлось.

Прежде всего он увидел в полумраке спальни густо покрытое пылью трюмо ювелирши и смутно в нем отразился, а затем кресло у кровати и в этом кресле сидящего неизвестного. В затемненной шторами спальне лицо неизвестного было плохо видно, и одно померещилось Степе, что это лицо кривое и злое. Но что незнакомый был в черном, в этом сомневаться не приходилось.

Минуту тому назад не могло и разговора быть о том, чтобы Степа сел. Но тут он поднялся на локтях, уселся и от изумления заоченел. Каким образом в интимной спальне мог оказаться начисто посторонний человек в черном берете, не только больной Степа, но и здоровый бы не объяснил. Степа открыл рот и в трюмо оказался в виде двойника своего и в полном безобразии. Волосы торчали во все стороны, глаза были заплывшие, щеки, поросшие черной щетиной, в подштанниках, в рубахе и в носках.

И тут в спальне прозвучал тяжелый бас неизвестного визитера:

— Доброе утро, симпатичнейший Степан

Богданович!

Степан Богданович хотел моргнуть глазами, но не смог опустить веки. Произошла пауза, во время которой язык пламени лизнул изнутри голову Степы, и только благодаря нечеловеческому усилию воли он не повалился навзничь. Второе усилие — и Степа произнес такие слова:

— Что вам угодно?

При этом поразился: не только это был не его голос, но вообще такого голоса Степа никогда не слышал. Слово «что» он произнес дискантом, «вам» — басом, а «угодно» — шепотом.

Незнакомец рассмеялся, вынул золотые часы и, постукав ногтем по стеклу, ответил:

— Двенадцать... и ровно в двенадцать вы назначили мне, Степан Богданович, быть у вас на квартире. Вот я и здесь.

Тут Степе удалось поморгать глазами, после чего он протянул руку, нащупал на шелковом рваном стуле возле кровати брюки и сказал:

— Извините...

И, сам не понимая, как это ему удалось, надел эти брюки. Надев, он хриплым голосом спросил незнакомца:

— Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия?

Говорить ему было трудно. Казалось, что при произнесении каждого слова кто-то тычет ему иголкой в мозг.